

Александр КОСТЕРЕВ

«ВЫШЛИ НА ЗАРЕ... А ДЕНЬ-ТО ВЕЛИК...»

Эссеистический диптих

КУПРИН И ГОРЬКИЙ: Две истории возвращения в СССР

Куприн и Горький — два культовых русских писателя, практически ровесники, основной этап творчества которых пришелся на бурное первое тридцатилетие XX века.

Куприн — непревзойденный художник современной «порочной и уродливой» жизни, мира людей, стоящих, в силу своего образа жизни или инстинктов, вне общества — представителей пестрой «бродячей» среды, смысл и форма существования которых — опасности, уловки, авантюры, а главное — отсутствие мещанского благополучия, необеспеченная, скитальческая жизнь людей, не знающих, что принесет им завтрашний день. Неподдельный интерес Куприна к этой социальной группе роднит его творчество с «босячками» образами Максима Горького — самим своим существованием протестующими против тупости чувств и мыслей обывателя-мещанина, обретшего благополучие и душевный покой. Но если для Горького образы босяков — первый этап в его внутреннем писательском развитии, то для Куприна они — самодостаточный литературный материал, который он не идеализирует, а используя который подает сигнал так называемому культурному сообществу: господа, вы все так безличны, предсказуемы, циничны, шаблонны, что не на чем остановиться вниманию художника; я покажу вам параллельный мир отверженных, и вы увидите, что, если в нашем обществе еще есть что-либо интересного и оригинального, так это именно те, которых вы гоните от себя. Крайне редкий герой произведений Куприна и Горького — типично русский внутренне мятущийся и рефлексирующий чеховский интеллигент. Волею судеб эти две яркие личности вначале разделяли творческие принципы и поддерживали друг друга. Однако в ходе переломных моментов трех русских революций, Первой мировой, последовавшей за этими событиями Гражданской войны 1918-1922 годов стали носителями разных идеологий: Куприн — до вынужденного возвращения в СССР оставался на позициях «белого» монархического движения, Горький — так долго примерял цвета в диапазоне от «красного» пролетарского до белоэмигрантского, что окончательно запутал современников. Однако границы этих ролей, которые, казалось бы, на первый взгляд были однозначно и до конца осмыслены, в долгосрочной перспективе оказались размытыми до неузнаваемости.

Челкаш

12 декабря 1887 года, купив на базаре старинный тульский револьвер, рабочий крендельного заведения Алексей Пешков выстрелил себе в грудь. Случайные прохожие нашли его истекающим кровью на краю заснеженного склона реки и отвезли в

больницу. В кармане у Пешкова обнаружили странную записку: «В смерти моей прошу обвинить немецкого поэта Гейне, выдумавшего «зубную» боль в сердце. Прилагаю при сем мой документ, специально для сего случая выправленный. Останки мои прошу взрезать и посмотреть, какой чорт сидел во мне последнее время. Из приложенного документа видно, что — Алексей Пешков, а из сей записки, надеюсь, ничего не видно» [10, с. 6]. Но Пешков не умер — пуля, пробив легкое, засела под кожей спины. В дни тяжелого выздоровления Горького навещали его товарищи — рабочие из крендельной Семенова, а их простые, человеческие слова сняли «зубную» боль в сердце и возродили желание жить, а уже в 1889 году Горький с интересом погружается в первые писательские опыты.

Александр Иванович Куприн так вспоминал о своем знакомстве с Горьким: «Кажется, это было в 1900 году. В Крыму, в Ялте, тогда уже обосновался Антон Павлович Чехов, и к нему, точно к магниту, тянуло других, более молодых писателей. Чаше других здесь бывали: Горький, Бунин, Федоров и я. Все начинающие писатели, в том числе и я, были тогда особенно заняты фигурой и произведениями А.П. Чехова, и молодой Горький мало кого интересовал. Лично я задумался над талантом Горького, когда прочел его рассказ «Челкаш» о контрабандистах в Одесском порту. Меня поразили яркость красок писателя и точность переживаний самого Челкаша и гребца в шлюпке — труса Гаврилы. Я два раза перечитал этот рассказ и подумал: "Из Максима Горького выйдет толк, а может быть, и что-нибудь очень большое"» [7, с. 65].

Однако искреннее признание таланта Горького не помешало Куприну позднее откликнуться на рассказ молодого Горького «Челкаш» ироничной и едкой пародией «Дружочки», опубликованной в 1908 году в сборнике «Незлюбивые пародии».

Купринская литературная пародия, безусловно, стоит того, чтобы посвятить ей несколько отдельных строк. Выделяя и гипертрофируя своеобразные черты оригинала, отражая текст в «кривом зеркале» под собственным самобытным углом зрения, Куприн оценивает его, сохраняя общий стиль и характер изложения гораздо выразительнее и живее, чем любая обстоятельная критическая статья. Почти подлинное слова горьковского героя глубоко комичны, ибо Куприн вкладывает их в уста Челкаша (абстрактного «босяка вообще»), перемежая привнесенными интеллигентскими словечками и целыми тирадами, достигая этим приемом невиданного эффекта: «Все чушь! — сказал хрипло Челкаш. — И смерть чушь, и жизнь чушь. Изведал я всю жизнь насквозь. И скажу прямо в лицо всем хамам и буржуям: черного кобеля не отмоешь добела. И еще скажу, — промолвил Челкаш снисходительно, влез бы на Исаакиевский собор или на памятник Петра Великого и плюнул бы на все. Вот говорят: Толстой, Толстой. И тоже — носятся с Достоевским. А по-моему, они — мещане» [9, с. 86]. «Все дозволено», — произнесла Мальва. «Аминь, — подтвердил Челкаш набожно, — так говорил Заратустра» [9, с. 87].

Наметившаяся в этой первой пародии тонкая грань в различии творческих подходов Куприна и Горького со временем перерастет в глубокую пропасть, сократить которую долгие годы не смогут ни добрые отношения писателей, ни совместная литературная работа.

В статье «Максим Горький», написанной в эмиграции в 1921 году, Куприн так характеризует писателя: «Есть люди, похожие на монету или на медаль. Их души всего о двух сторонах: на одной — номер, стоимость, эмблема и надпись; на другой — лицевое изображение, иными словами — что сделал и как жил. Это — дураки, зоологические хищники, прирожденные лгуны, рабы «общих мест» и ходячих мнений, но также и праведники, и герои, и гении. Бывают крупные медяшки, изготавливаемые штампом по одному образцу в миллионах штук и так стершиеся от употребления, что не видать ни орла, ни решки. Но бывают и золотые, полновесные уники, которые с любовью и терпением чеканили руки Бенвенуто Челлини. Талантливые люди — о многих гранях. Художники слова — в особенности. По их произведениям, в которых причудливо перемешивается личная жизнь с выдуманным и наблюдаемым, интереснее и вернее всего следить за блеском этих граней. Грубость таланта, в соединении с эгоистической грубостью и злостью натуры, доступнее для пытливого взора. У них всегда найдется фацетка, отражающая почти всего человека в авторе [8, с. 255]. Горький разбросал себя по многим своим персонажам. Он есть и в Луке («На дне»), в этом лукавом бродячем старикашке, который одинаково равнодушен к добру и злу и одинаково готов потакать всякому мнению; и в Маякине, хитром ростовщике, мягком краснобае; и в сапожнике Орлове, главные мечты которого — взлезть на колокольню и плюнуть оттуда на всех людишек; и в Челкаше, воре по профессии, но социал-демократе по убеждениям» [8, с. 256].

Еще не поединок?

В середине октября 1902 года Куприн напишет Чехову: «У меня идут переговоры об издании моих рассказов в «Знании». Все теперь зависит от Горького, к которому Пятницкий поедет на днях в Москву. Если дело выгорит, я буду очень счастлив» [6, с. 196].

«Много позже, в Петербурге, — вспоминал Куприн, — когда Максим Горький уже пользовался большой известностью, ко мне пришел писатель Бунин и сказал, что со мной хочет поближе познакомиться Алексей Максимович, который в то время основывал большое книгоиздательство «Знание». Я отправился к Горькому на Знаменскую улицу. На этот раз он показался мне и физически и духовно неожиданно выросшим и крепким. Скоро в издательстве «Знание» вышла моя первая большая повесть, скорее роман — «Поединок» [7, с. 65].

Повесть «Поединок» — одно из самых известных и значительных произведений в творчестве Куприна, опубликованная в 1905 году, — история конфликта молодого подпоручика Ромашова с сослуживцами, развивающегося на фоне столкновения романтического мировоззрения интеллигентного юноши с миром захолустного пехотного полка, с его провинциальными нравами, муштрой и пошлостью офицерского общества, увидела свет благодаря непосредственному участию и поддержке Горького. Книга не ограничилась авторским посвящением: «Максиму Горькому с чувством искренней дружбы и глубокого уважения эту повесть посвящает автор» [6, с. 44], а по собственному признанию Куприна, именно влияние Горького определило «всё смелое и буйное в повести» [6, с. 44]. «Поединок», — безусловно, талантливое произведение, написанное офицером-Куприным со знанием дела изнутри и благодаря своей непосредственной связи с переживаемыми событиями, — не мог пройти бесследно: вызывая к жизни массу как положительных, так и критических очерков, рецензий, отзывов в журналах и газетах. Большая часть читателей и критиков восторгалась романом Куприна, находя его фотографически верным изображением военной среды; многие пошли далее замыслов самого Куприна, бросая грязью в сторону армии; среди прочих были и взвешенные оценки, учитывающие общее состояние экономики и общественной жизни Российской империи начала XX века.

Евгений Львов в журнале «Образование» указывает, что «...до Куприна жизнь военной касты, благодаря ее замкнутости, была ни для кого неизвестна и что достоинство произведения Куприна и заключается в том, что он раскрыл ее для всех» [14, с. 15].

По мнению «Русского вестника», близость к великому Максиму испортила «Поединок» «тенденциозными проповедническими страницами», а в основе «злбно-слепой критики армии» лежит «...тот же рецепт Максима Горького — «Человек! Это звучит гордо!» [12, с. 726].

Николай Скиф в «Русском вестнике» в статье «Горький и Куприн» назвал творчество обоих писателей «симптомами умственного и нравственного разложения мыслящей России» [11, с. 571]. «Приведем для примера двух писателей, — продолжал Скиф, — Горького и Куприна. Один — догорающая звезда в босяцких потемках, другой — восходящее светило в небе воров и конокрадов, контрабандистов и убийц. Иногда кажется, что они сами не понимают того, что говорят. Горький, с присущей ему дубоватостью, угловатостью и грубостью, думая стать властителем дум путем постоянного сквернословия и нахальства. Г. Куприн, преднамеренно и настойчиво вращавшийся в самой порочной и преступной среде, чтобы, марая и пачкая эту и без того неприглядную среду, иметь возможность доказать, что он выше этой среды, что эта среда его не заела. Г. Куприну никогда не добиться таких обильных и всеобщих лавров. И это вполне понятно. Он не освободился от аристократической тенденции. Вот почему лавры Горького гуще и свежее лавров г. Куприна» [11, с. 583].

«...справедливость заставляет отметить, — писал боевой офицер Федоров, — что Куприн в своём «Пединке» слишком односторонне взглянул на дело, слишком мрачными красками нарисовал он нам картину офицерского быта, намеренно выпустив все хорошее, прекрасное и достойное [14, с. 23]. Но может быть, нам скажут, что военное сословие оказалось менее всего подготовленным, несчастная война обнаружила самые серьезные недочеты именно в военном отношении, военные не выдержали того экзамена, который предъявила им история, столкнувшись с более одаренной и молодой армией Дальнего Востока. Военное ведомство более всего должно быть виновно за тот позор, который выпал на долю России. Положим, что все это отчасти и верно, но пускай нам укажут, какое ведомство находится у нас в более блестящем положении, какие деятели других сословий пользуются у нас заслуженной известностью. Может быть, наше министерство финансов, при котором мы не выходим из дефицитов, —

или, может быть, наша дипломатия, которая довела нас до несчастной войны, — или министерство народного просвещения, при котором число безграмотных в России одинаково с Турцией — самым некультурным из всех европейских государств. Ведь куда ни взглянешь — всюду общее духовное обнищание, постепенный упадок всех сторон народной жизни, полное отсутствие богатырей мысли и духа» [14, с. 26].

Максим Горький яростно защищал повесть, считая «Поединок» этапом в развитии мастерства Куприна: «Великолепная повесть, я полагаю, что на всех честных, думающих офицеров она должна произвести неотразимое впечатление <...> Возьмите язык Куприна до «Поединка» и после, — вы увидите, в чем дело и как вышеназванные писатели (Тургенев, Чехов, Лесков, Короленко) хорошо учат нас» [4, с. 212].

Горький оценивал «Поединок» в свете событий русско-японской войны и подъема революционных настроений в армии. «Великолепная повесть» Куприна содействовала, по мнению Горького, росту политической сознательности армии, разбуженной «тяжелой ценой войны».

«Ведь Горькие и Куприны, — писал Скиф, — только первые ласточки пролетарской весны. Ведь это только буревестники. Буря еще впереди. Найдутся еще новые лужи грязи, в которой любо будет поваляться мыслящей России. Ведь прогресс и стихийная общественная эволюция не останавливаются и не могут остановиться» [11, с. 585].

Пусть сильнее грянет буря...

В 1908 году в Эссентуках Куприн читал лекции о современной литературе. Горько-го он называл могучим, красочным талантом, а лучшим его произведением драму «На дне». «Когда Горький захотел учительствовать, — отмечал Куприн, — он стал падать, но, судя по «Исповеди», снова подымается» [5, с. 292].

«Затем наступает в русской литературе сомнительная полоса, большую роль в которой сыграл Ницше. Пьяная проповедь его о сверхчеловеке, проповедь о любви не к ближнему, а к дальнему — не коснулась Чехова, но сильно повлияла на Горького. Он первый восстал у нас против лицемерной мизантропии христианства, против сострадания к ближнему, против мечты, стремящейся приласкать прокаженного, отдать последнюю рубашку нищему. Горький напоен поэзией этого великого пророка и отравителя. В психологию своих босяков, отверженных «бывших людей» он сумел вложить чисто нищенскую гордость, презрительно высокомерное отношение к сытости и мелочному благополучию жизни, — и в то же самое время способность наслаждаться свободой своего существования, красотой природы, солнцем и яркостью жизни. Таким образом, Горький был, быть может, бессознательным нищенцем. Этому, отчасти, он обязан своим богатым успехом. Успех этот слишком скверно повлиял на него — он слишком преждевременно вообразил себя учителем, и мы видели его быстрое падение как художника. Zenитом славы его было — «На дне», после чего его герои начинают перерождаться из полных жизни и непосредственности типов в морализирующих резонеров. К счастью, последняя вещь его «Исповедь» говорит о возрождении его таланта. В ней мы опять находим прежнего, сильного, самобытного, яркого Горького, с его крепким русским языком. Глубокая печаль артиста и художника сквозит во всех вещах этого писателя» [6, с. 299].

В 1912 году Куприн, приглашенный дружеским письмом Горького, твердо намеревался отправиться к нему на Капри, чему помешала забастовка транспортников, и все возможные пути оказались отрезанными для путешественников, а главное, Куприн испытывал колоссальные финансовые трудности. В письме Куприна к Горькому от 1912 года из Гатчины он напишет:

«Дорогой Алексей Максимович! Верьте не верьте, а я только потому не приехал к Вам, что у нас у троих было ровно два франка и 50 сантимов. Теперь дела поправились, и весь душой я стремлюсь в Неаполь. Читал я на днях «Кожемякина». Якши. Милый, прекрасный Алексей Максимович! Письмо это только для Вас. Ведь не Вас создало рабочее движение и умная книга Маркса, а Вы первый уловили, закрепили и, как чудесный художник, показали самую странную вещь на свете — душу русского бродяжки. Душу, которая и в Пушкине, и в Толстом, и в Вас, и во мне, и в каторжнике, и в монахе, и в Фоме. И потому: когда Вы говорите слова, я думаю: прекрасно, умно, хорошо, а когда мыслите образами, я думаю — нет, Россия — это не Европа и не Азия, это страна самых неожиданных решений, это край Степана Тимофеевича, где жадность и самоотвержение, подлость и бесстрашие, трусость и презрение к смерти так удивительно переплелись, как нигде в мире. Вот тут-то он и есть Горький. Ваш всегда А. Куприн» [6, с. 46-47].

В 1913 году «заговорили о Горьком, о возможном его возвращении в Россию, писал

Куприн. — Вот человек с большой и открытой душой, крупный талант, истосковался, бедный, по родине. Не повезло мне последний раз во время моей поездки в Ниццу. Получил из Неаполя от него приглашение к нему заехать, уже собрался было, да вдруг забастовка там судовых команд, и ехать не удалось. В другой раз, чуть ли не через неделю, отправиться к Горькому стало возможно, так у меня денег не было. Словом, так мне видеть его и не удалось, о чем я сейчас жалею очень. У нас любят быстро хоронить писателя. На Горьком это как-то особенно сильно отразилось. Как только писатель допустит маленький уклон, так и готово — уже и «исписался», и «выродился», и что угодно. А ведь человек в расцвете лет, для писателя 45 лет — самый благодарный возраст. Ему теперь только и творить. Я считаю последние вещи Горького очень талантливыми. Нужно сказать, что талант Горького немного заедает политика. Она лишает его основного требования для писателя — свободы творчества — и заставляет писать тенденциозно» [6, с. 332].

«В искусстве необходимо знать, что ты пишешь, для чего пишешь и о чем пишешь, — писал Куприн в 1916 году. — Таков Чехов — милый, прекрасный, добрый. После него пришли Горький и Андреев. Горький, это — буревестник, черной молнии подобный. Он впал только в один грех: его тянула к себе земля, и поэтому зачастую он был тенденциозен в ущерб своему огромному таланту. На время он ушел от русской жизни и стал сух. Но вот он снова коснулся родной земли и стал, как и прежде, прекрасен. Правда, по его последним произведениям русский человек не культурен, не гостеприимен и заслуживает кнута. Но ведь это русский человек паровозных пристаней, испачканных интеллигенцией. У Горького прекрасный русский язык» [6, с. 353].

«Последний раз я видел А.М. Горького в Петрограде, — вспоминал Куприн, — в самый разгар революции. Он был главным редактором издательства «Всемирная литература», созданного по его инициативе. Я часто ездил из Гатчины к нему и писал для него статьи. В то время Горький готовил для издания на русском языке полное собрание сочинений А. Дюма (отца). Зная, как я люблю этого писателя, Алексей Максимович поручил мне написать предисловие к этому изданию. Когда он прочел мою рукопись, то ласково поглядел на меня и сказал: «Ну, конечно... Я знал, кому нужно поручить эту работу». Не могу забыть еще одного, как будто мелкого, но характерного эпизода. Ко мне из цирка Чинизелли пришли артисты и просили похлопотать за голодающих лошадей и других животных. С помощью А.М. Горького мне удалось очень быстро достать все необходимое для цирка» [7, с.65-66].

Перелетные птицы в эмиграции или «безумству храбрых»

В эмиграции, куда Куприн вынужден был уехать в 1920 году, все прежние литературные и личные отношения стали восприниматься им под углом свершившейся в России катастрофы. Так, долгие годы приятельства Куприна с Горьким сменились яростной полемикой с ним и уничтожающими оценками: «Грубость таланта, в соединении с эгоистической грубостью и злостью природы...» (статья «Максим Горький») [8, с.255]; «Знаменитый русский путешественник, полиглот и гастроном Максим Горький со своим неотъемлемым безвкусием и куцым мышлением... однажды, с высоты птичьего полета, покрыл черным словом Нью-Йорк и Америку. Проездом через Францию грубо обложил и эту страну. Не упустил случая обгадить и свою безответную, несчастную Родину» (статья «Рубец») [8, с.523].

«Есть, однако, кое-что другое, что Горькому не простится, — писал Куприн. — Однажды в нем заговорила совесть, загляла на минутку хорошая русская душа (столь им обруганная, затоптанная и заплеванная). Это случилось в середине 1917 года — целый день носились по городу броневики, переполненные вооруженными людьми, увешанные красными флагами. Целый день поливали ни в чем не повинную публику пулеметным и беглым ружейным огнем. Горький был в этот чудовищный день на улице. На другой день, под свежим впечатлением, он описал виденные им сцены в такой яркой и сильной статье, какую ему еще не удавалось и уже никогда не удастся написать. Статья была прекрасно закончена решительным отказом Горького идти дальше по одной дороге с большевиками, забрызганными невинной кровью. Горький долго молчал. Он, очевидно, был ушиблен и ошеломлен собственной смелостью. Между тем, в последующие дни большевики все крепче и увереннее захватывали власть. «Не могу молчать! — воскликнул он. — Пока враги большевизма были идейными врагами, я встал против большевиков, проливших кровь. Но ныне, после того, когда эти враги убили Урицкого, я побеждаю в себе сентиментальность и целиком перехожу на сторону обиженных большевиков». Здесь-то Горький и изъял из обращения главные ценности: свою душу и свою славу» [8, с. 317].

Между тем в письме Куприна издателю Евгению Ляцкому, написанном в Париже в

1920 году, читаем такие строки: «С Горьким я не расплевывался, так же как никогда и не кадил ему. В один день, когда он хотел заставить меня подписать, не ознакомившись с делом, бумагу, выносящую жестокое, однобокое и несправедливое обвинение одному из писателей, и когда, в ответ на высказанное мною желание узнать всю мотивировку приговора, он лишь ответил, что все равно вопрос уже предрешен, я отказался дать свою подпись и с той поры перестал видаться с А.М. Это ли значит расплеваться. Я не смею Вас упрекать за откровенные разговоры с питерцем о Ваших издательских делах <...> зная Горького лучше, чем многие, я твердо знаю, что назло мне он не станет торопить перевода: настолько у нас обоих осталось уважения друг к другу. Поэтому бросим сердиться и колоть друг друга, как истые интеллигенты. Утвердимся во взаимной вере и пожмем друг другу руки» [6, с. 98].

О жизни в эмиграции Куприна узнаем из его писем друзьям в период 1922-1932 годов. В августе 1922 года он пишет Борису Лазаревскому:

«Мы живем все там же, в двух комнатах, перегруженных мебелью, тряпками, подушками, всякой рухлядью. Темнота. Ссоримся помаленьку. Миримся. Изредка хожу с Ксенией в кинема. Терпеть не могу. А за три с половиной часа сиденья так отсидишь жопу, что по пути домой ее никак не разомнешь. Кроме того, Ксенка склонна к пьесам комнатным, сильно драматическим, а я наоборот. Болеем понемногу, больше, конечно, от скуки и мнительности» [6, с. 135].

«В декабре этого года будет 35 лет, как пишу, пишу, пишу, накопил 20 томов, с политикой еще больше, знаком каждому грамотному человеку в мире, а осталась голый и нищий, как старая бездомная собака, — жалуется Куприн борцу Ивану Заикину весной 1924 года. — Ты писал мне про переводчиков хорватов. Но они же и сербы, и болгары, и чехи, и испанцы, и итальянцы, и поляки, и шведы, и финны, и японцы, и американцы, и англичане, и венгерцы, и немцы, и румыны, и другие: не хватает только цыганов, самоедов и облизьянов. Горько, брательник! Повернулась к нам судьба задом. Но кислое есть кислое, горькое всегда горько, а если тебя посадят на кол, то как не сказать: больно? У нас весна, но она идет мимо меня, боком. Где-то рядом на деревьях свистят черные дрозды. Закатиться бы теперь с дружкой за город, пешком, сожрать бы яшницу и полить ее, ради свидания и ради общего горя, терпким местным винишком» [6, с. 156].

А что же Горький?

Весь 1917 год проходит у Горького под знаком тяжелой растерянности, горьких жалоб на самосуды, истязания, под тайный ни на минуту не смолкающий аккомпанемент: Азия побеждает! Герберт Уэллс в своей книге «Россия во мгле» так вспоминает воздействие Горького на восприятие ситуации: «Ему мерещится кошмарное видение — Россия, уходящая на Восток. Быть может, и я заразился его настроением» [13, с. 34].

Горький горячо и без устали повторял, что в душе русского человека идет беспощадный бой между Азией и Европой, что вся русская история — это вековечный поединок между Западом и Востоком. Результатом смертельной борьбы этих двух начал — европейского и азиатского — является жестокий разлад, постоянно царящий и в наших чувствах, и в наших мыслях. Все грубое, злое и апатично-покорное — от Азии, от востока. Кнут, пытка, дыба, рабская услужливость, пассивность, непротивленчество — это все наследие монгольской души. Но упрямая вера в правду, но вечная жажда справедливости, но революционный задор и беспредельная отвага — это уголки, облитые светом новой — европейской цивилизации; это голоса культурного запада.

Время длительного пребывания Горького за границей, начиная с 1921 года, как правило, обходится молчанием, а читателю неизменно внушается мысль, что Горький покинул советскую Россию единственно по причине расстроенного здоровья, во все время своего пребывания за границей не терял самой тесной связи с Лениным, большевицким правительством и вернулся, как только выздоровел. Реальную оценку ситуации находим в воспоминаниях Ходасевича, который поддерживал близкие отношения с Горьким в этот период.

Вероятнее всего, одной из главных причин отъезда Горького стал его многолетний конфликт с Зиновьевым, восходящий еще к дореволюционной поре. Первые разногласия возникли в 1917-1918 годах, когда Горький стоял во главе газеты «Новая Жизнь», оппозиционной по отношению к ленинской партии и закрытой советским правительством одновременно с другими оппозиционными органами печати.

«Во всяком случае, к осени 1920 года, — пишет Ходасевич, — когда я переселился из Москвы в Петербург, до открытой войны дело еще не доходило, но Зиновьев старался вредить Горькому, где мог и как мог. Арестованным, за которых хлопотал Горький, нередко грозила худшая участь, чем если бы он за них не хлопотал. Продовольствие, топливо и одежда, которые Горький с величайшим трудом добывал для ученых, писателей и художников, перехватывались по распоряжению Зиновьева и распределялись неизвестно по каким учреждениям. Ища защиты у Ленина, Горький то и дело звонил к

нему по телефону, писал письма и лично ездил в Москву. Нельзя отрицать, что Ленин старался прийти ему на помощь, но до того, чтобы по-настоящему обуздать Зиновьева, не доходил никогда, потому что, конечно, ценил Горького как писателя, а Зиновьева — как испытанного большевика, который был ему нужнее. Недавно в журнале «Звезда» один ученый с наивным умилением вспоминал, как он с Горьким был на приеме у Ленина и как Ленин участливо советовал Горькому поехать за границу — «отдохнуть и лечиться» [15, с. 353].

Тем не менее уже 21 декабря 1921 года, вскоре после отъезда Горького за границу, Политбюро ЦК РКП(б) приняло решение о его обеспечении: «Включить т. Горького в число товарищей, лечащихся за границей, и поручить т. Крестинскому проверить, чтобы он был вполне обеспечен необходимой для лечения суммой» [2, с. 32].

В 1922 году Горький, измученный противоречиями трагической эпохи, изнуренный неровностями и прозаическими жесткостями революционного пути, собрал все свои сомнения, опасения и печальные мысли, подсказанные ему расшатанными нервами, и напечатал под заглавием «Русская жестокость» в Копенгагене в социалистической газете «Politiken». «Нечего говорить, — писал Войтоловский, — что вся заграничная печать, не исключая английской и американской, встретила статью Максима Горького как сенсационнейшее разоблачение, громко и внятно возмущенное на весь европейский мир устами герольда русского народа, осыпаемого милостями и покровительством нынешнего правительства. Созданное таким образом газетное улюлюканье способствует сгущению политической сплетни вокруг выступления Максима Горького и умышленно раздувает неудачный литературный памфлет до размеров грандиозного политического скандала.

У нас в России статья Горького не получила распространения, хотя она переведена и напечатана в петербургском журнале «Новая Россия» №2, и публика довольствовалась на этот счет традиционным перешептыванием, пересудами и зубоскальством, неприменными атрибутами политической сплетни» [3, с. 11].

«Кто жесточе — красные или белые? — спрашивал Горький. И отвечал со всеумерщвляющей категоричностью: — Одинаково, потому что все они, и красные, и белые, — одинаково русские» [3, с. 16].

Безбедные и благополучные годы, проведенные писателем в Италии, отдалили его от объективного восприятия русской действительности, Горький удручен жестокостью российских нравов, жалуясь на это в беседах и заявляя в печати, что Россия — страна угрюмая, злая, кровавая, забывая при этом, что в Италии и покоренных ею странах сохранились десятки Колизеев, в которых на потеху толпе тысячи людей истреблялись самыми изощренными способами.

Скорее всего, взявшись за написание заметок о русском народе, Горький хотел прощупать пределы определенных для него политических рамок. Но Москва ответными жесткими статьями в советской прессе дала понять, что он может потерять своего главного читателя — советского. Так что в итоге пролетарский писатель выбрал безбедную жизнь за границей на деньги советского правительства, а после того, как публично заявил о своей лояльности советской власти, начиная с 1923 года тома собрания его сочинений стали печататься в Берлине, а с 1924 года и в Москве. На случай всевозможных попыток писателя проявить ненужную советскому правительству активность был заготовлен нехитрый ход: сдвигалось время очередной выплаты гонорара, и обремененный домохозяином и гостями Горький оказывался в сложном положении. Ничего тонкого и изысканного — грубый финансовый элементарный расчет.

В конце зимы 1922 года встал вопрос о том, каким образом компенсировать затраты на содержание писателя за границей. И появилось простое, но выглядевшее совершенно логичным решение, утвержденное Политбюро 25 февраля 1922 года — «поручить Наркомпросу приобрести у М. Горького авторские права на его сочинения, немедленно оформить сделку и начать финансирование» [2, с. 40]. Предложение было с явным подтекстом, и «буревестник революции» принял его не сразу и с оговорками. Только через четыре месяца, 21 июня 1922 года, торговый представитель РСФСР в Германии Стомоняков отчитался Иосифу Сталину в том, что «согласно Вашего поручения мы заключили прилагаемый при сем в копии Договор с А.М. Пешковым — Максимом Горьким». Горькому был предложен приличный гонорар, который по выбору автора выплачивался в американских долларах [2, с. 41]. Договор был утвержден Постановлением РКП (б) от 29 июня 1922 г.

«Прожив несколько месяцев в Париже и в Ирландии, — вспоминал Ходасевич, — в начале октября я приехал в Сорренто и застал Горького на положении человека опального. Полпредство, недавно учрежденное в Риме, игнорировало его пребывание в Италии. В советских журналах о Горьком отзывались весьма скептически, в газетах появлялись заметки и вовсе оскорбительные. Сам Алексей Максимович говорил о большевиках с раздражением или с иронией: либо «наши умники», либо «наши олу-

хи». Однако, когда в Сорренто приехал лечиться московский писатель Андрей Соболев, Алексей Максимович при нем считал нужным носить официальную советскую маску: о советских делах отзывался с официальным оптимизмом; восторженно, с классическими слезами на глазах говорил о «замечательных ребятах» — советских писателях, ученых, изобретателях, давая понять, что только теперь «замечательные ребята» получили возможность развернуться [15, с. 365].

Вместе с Шкловским и Ходасевичем Горький начал свой единственный издательский проект в Европе — журнал «Беседа», названный по предложению Ходасевича в память Державина [15, с. 361], в котором планировалось соединить культурный потенциал литераторов Европы, русской эмиграции и Советского Союза. Несмотря на устойчивые слухи, что журнал издавался на московские деньги, его выпускало берлинское издательство «Эпоха», основанное на частные средства. «Эпоха» взялась за реализацию проекта, полагая, что участие Горького могло служить гарантией закулки журнала для советской России.

Идея заключалась в том, чтобы молодые советские писатели получили возможность издаваться в Германии, а у писателей из русской эмиграции появились бы читатели на родине. Предполагались высокие авторские гонорары, что вызвало настоящий писательский бум по обе стороны границ. Сотрудниками редакции под началом Горького были Ходасевич, Белый, Шкловский, Адлер, приглашены европейские авторы Р. Роллан, Дж. Голсуорси, С. Цвейг; эмигрантские А. Ремизов, М. Осоргин, П. Муратов, Н. Берберова; советские Л. Леонов, К. Федин, В. Каверин, Б. Пастернак.

Весной 1923 года появилась первая книга «Беседы», за ней — вторая.

Советская «Международная книга» в Берлине приобретала журнал в количестве десяти-двадцати экземпляров, ссылаясь на отсутствие официального разрешения на ввоз «Беседы» в РСФСР [15, с. 361].

Хотя официальные власти в Москве проект на словах поддерживали, позднее в архивах Главлита обнаружилось документы, характеризовавшие издание как идеологически вредное. Всего вышло 7 номеров, при этом Политбюро ЦК РКП(б) запретило допускать тираж журнала в СССР, ввиду чего проект был закрыт как бесперспективный.

Но Горький уже сжился с мыслью о свободном журнале. Кроме того, ему было необходимо настоять на своем, чтобы поддержать в Москве свой падающий авторитет, которым он весьма дорожил, несмотря на то что, кроме умирающего Ленина, ненавидел весь Кремль. Утратить этот авторитет — значило «испортить биографию», потерять ореол любимца «революционных масс» и титул «буревестника». Недаром Троцкий уже осмеливался открыто, в печати, называть его контрреволюционером. Слухи об охлаждении между Горьким и советским правительством ходили давно [15, с. 362].

Как перед писателями эмиграции, так и перед советскими литераторами Горький, не сумев сдержать обещания, оказался со своим неосуществимым социальным идеализмом в неловком положении, что нанесло урон его репутации — связующего звена между Европой и Советской Россией, между русской эмиграцией и литературным сообществом СССР.

Показательна статья Николая Асеева, написанная по следам посещения им Горького в Италии, опубликованная в журнале «Огонек», в которой читаем такую характеристику Куприна: «В первый же вечер у Горького засиживаюсь далеко за полночь. Нет возможности пересилить желание слушать его замечательные воспоминания, в которых множество лиц и событий, знакомых лишь по описаниям, встает и оживает и заполняет комнату с мельчайшими неожиданными черточками, с оживляющими их деталями, никем не подсмотренными, не наблюдаемыми, не замеченными, кроме Горького. Фигуры Чехова, Андреевна, Куприна, Блока дополняются совершенно неизвестными о них подробностями; события и факты мелькают с изумительной точностью и полнотой. Вот его рассказы о писателе Куприне. Я спросил Горького, откуда у этого армейского капитана, запивохи и богемца, такая ненависть ко всему новому, почему он так крепко сросся с быльем прошлых дней. Горький рассказывает о нем, и по мере рассказываемого яснее, почему именно Куприну был и остался так дорог старый быт. Особый вид литературного самодурства, описывания курьезных жизненных положений, типов, явлений — Куприн положил в основу своей работы. Зная хорошо дореволюционный русский быт, веря в неизбежность его многопудовой задней части, Куприн озоровал и пытался отыскать противоречащие ему явления, его уродства, его извращения, спрессованные его тяжестью. Но, озоруя и компрометируя его, Куприн всегда верил и в его страшную и несокрушимую косность, с которой бороться можно было лишь в меру личной одаренности и незаурядности, позволяющих безнаказанно насмехаться над ним. И вот совершилось невероятное: старый, слежавшийся, мундирный, чиновный, интеллигентски-богемский быт — рухнул, давя под своими обломками все Гамбринусы, все поединки, всех участников и действующих лиц его, так любовно наблюдаемых Куприным; Куприну стало не о чем писать. Так либеральный как

будто бы писатель, привыкший к собственной традиционной воркотне, сменил свой либерализм на реакционнейшее миросозерцание, стоило условиям, в противовес которым он как будто бы существовал, пошатнуться и рухнуть вниз» [1, с.5].

Возращение на круги своя

В начале 1930-х годов Горький с волнением ждал Нобелевскую премию по литературе и, рассчитывая на международное признание, номинировался пять раз подряд, а по многим косвенным признакам было известно, что премию с года на год должны впервые непременно присудить одному из русских писателей. Серьезными конкурентами Горького считались популярные в эмигрантской среде Иван Шмелёв, Дмитрий Мережковский и Иван Бунин. Когда в 1933 году премию получил Бунин, надежды Горького на укрепление международного статуса и мировое признание окончательно рухнули. По одной из распространенных версий решение о возвращении Алексея Максимовича в СССР в значительной степени вызвано интригой вокруг премии, которую, по понятным политическим причинам, Нобелевский комитет явственно желал присудить писателю из русской эмиграции, а Горький эмигрантом в полном смысле этого слова не считался.

Большинство распространенных источников указывает, что Горький из-за проблем со здоровьем наезжал в СССР в теплое время года, а зимой возвращался в Италию, окончательное возвращение его на родину датируется по одним источникам в октябре 1932 года, по другим — 9 мая 1933 года. При этом Сталин лично обещал Горькому, что тот и дальше сможет проводить зиму в Италии, на чём настаивал Алексей Максимович, однако писателю вместо этого в 1933 году предоставили большую дачу в Тессели (Крым), куда он перебирался на зиму с 1933 по 1936 год. В ночь с 18 на 19 июня 1936 года Горький умер.

Как гласила официальная версия того времени, растиражированная в периодических и памятных изданиях: «Его убили подлые отравители Рыков, Бухарин, Ягода. Убили за то, что он был ближайшим другом великого Сталина, лучшим другом трудящегося человечества. Как больно, как горько сознавать, что наш Горький умер насильственной смертью. Он мог еще жить, мог творить» [10, с. 17].

«Деньги, автомобили, дома — все это было нужно его окружающим, — писал близко знавший Горького Ходасевич. — Ему самому было нужно другое. Он в конце концов продался — но не за деньги, а за то, чтобы для себя и для других сохранить главную иллюзию своей жизни. Упрямясь и бунтуя, он знал, что не выдержит и бросится в СССР, потому что, какова бы ни была тамошняя революция — она одна могла ему обеспечить славу великого пролетарского писателя и вождя при жизни, а после смерти — нишу в Кремлевской стене для урны с его прахом. В обмен на все это революция потребовала от него, как требует от всех, не честной службы, а рабства и лести. Он стал рабом и льстецом. Его поставили в такое положение, что из писателя и друга писателей он превратился в надсмотрщика за ними. Коротко сказать — он превратился в полную противоположность того возвышенного образа, ради сохранения которого помирился с советской властью. Сознал ли он весь трагизм этого — не решаюсь сказать. Вероятно — и да, и нет, и вероятно — поскольку сознал, старался скрыть это от себя и от других при помощи новых иллюзий, новых возвышающих обманов, которые он так любил и которые в конце концов его погубили [15, с. 375].

Судьба Куприна по возвращении разительно отличалась от судьбы Горького.

В записке полпреда СССР во Франции Потемкина на имя Ежова «О возвращении на Родину писателя А.И. Куприна», датированной 12 октября 1936 года, читаем: «7-го августа, будучи у т. Сталина, я, между прочим, сообщил ему, что писатель А.И. Куприн, находящийся в Париже, в эмиграции, просится обратно в СССР. Я добавил, что Куприн едва ли способен написать что-нибудь, так как, насколько мне известно, болен и неработоспособен. Тем не менее, с точки зрения политической, возвращение его могло бы представить для нас кое-какой интерес. Тов. Сталин ответил мне, что, по его мнению, Куприна впустить обратно на родину можно. Предполагая быть у Вас, я просил у тов. Сталина разрешения сослаться на его заключение по вопросу о возвращении Куприна. Вернувшись в Париж, я предвижу, что Куприн вновь поставит передо мной свой вопрос. Если найдете возможным, дайте мне знать, стоит ли его обнадеживать. Между прочим, для меня безразлично было выяснить, чем будет жить Куприн, если к нам вернется. Прежде всего, думается, можно было бы переиздать кое-какие его сочинения, среди которых имеются и хорошие вещи. Во всяком случае, однако, сам я не буду пока двигать вперед купринское дело» [2, с. 27].

Смертельно больной Куприн вернулся в СССР в 1937 году по официальному приглашению советского правительства. Постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) «О пи-

сателе А.И. Куприне» от 7 июня 1937 года было принято решение: «Разрешить Союзу советских писателей организовать А. Куприну санаторное лечение (месяц-полтора) и устройство ему жилища под Москвой или Ленинградом силами и средствами Литфонда СССР» [2, с. 59]. Учитывая физическое состояние писателя, опубликованная за его подписью в июне 1937 года в газете «Известия» статья «Москва родная», вероятнее всего, была написана прикрепленным к Куприну журналистом газеты Николаем Вержбицким, который выполнял обязанности «общественного секретаря» вернувшегося писателя.

По свидетельствам современников, роль Вержбицкого при Куприне в это время была весьма велика — все встречи писателя проходили в его присутствии, как и вся переписка Куприна. Вклад Вержбицкого, с большой долей вероятности, присутствует в «Отрывках воспоминаний» Куприна, опубликованных после его возвращения в 1937 году, включая такой политический реверанс в сторону творчества Горького: «Вся жизнь А.М. Горького, его творчество, память о нем, — писал Куприн, — заставляют меня еще и еще раз с болью вспоминать о пребывании моем в эмиграции, когда я сам себя лишил возможности деятельно участвовать в работе по возрождению моей родины. Должен только сказать, что я давно уже рвался в Советскую Россию, так как, находясь среди эмигрантов, не испытывал других чувств, кроме тоски и тягостной оторванности. Советское правительство дало мне возможность снова очутиться на родной земле, в новой для меня Москве, наполненной прекрасным жаром строительства. Теперь, в день годовщины смерти Алексея Максимовича Горького, я низко склоняю голову перед всем, что он сделал для своей советской страны и для своего народа» [7, с.66].

Б и б л и о г р а ф и я

1. Асеев Н.Н. У Горького в Сорренто. Очерк. М.: - «Огонек» №5, 1928. - 18 с.
2. Власть и художественная интеллигенция. Документы. 1917-1953 годы. Составители Андрей Артизов и Олег Наумов, - М.: Международный фонд «Демократия», 1999. - 868 с.
3. Войтоловский Л.Н. По поводу памфлета Максима Горького «Русская жестокость». Киев: Державне Видавництво Київ, 1922. - 31 с.
4. Горький М.А. Собрание сочинений в 30 томах, т. 29, - М.: Художественная литература, 1957. - 312 с.
5. Куприн А.И. Новейшая литература. Портреты и характеристики. Газета «Терек», Владикавказ, за 1908 год (главы I-III - в №195 от 27 августа, главы IV-VIII - в №197 от 29 августа).
6. Куприн А.И. Письма. 1893-1934 гг. М. 359 стр.
7. Куприн А.И. Собрание сочинений. Том девятый. Воспоминания, статьи, рецензии, заметки. - М.: Художественная литература, 1973. - 336 с.
8. Куприн А.И. Хроника событий глазами белого офицера, писателя, журналиста, 1919-1934, - М: ООО «Издательство Собрание», 2006. - 672 с.
9. Незлобные пародии. Стихи, беллетристика, критика. Собрал Абель - М.: Издательство А.С. Суворина, 1908. - 200 с.
10. Памяти Горького. Сборник статей. Петрозаводск: Каргосиздат, 1938. - 48 с.
11. Скиф Н. Русский вестник. т. 306, №12, - СПб.: Товарищество «Свет», 1906. - 374-621 с.
12. Стародум Н.Я. Русский вестник. т. 297, №6, - СПб.: Товарищество Комарова, 1905. - 463-831с.
13. Уэллс Г. Россия во мгле. - М.: Издательство «Родина», 2021. - 144 с.
14. Федоров В. По поводу «Поединка» Куприна. - СПб.: Россия, 1907. - 36 с.
15. Ходасевич В.Ф. Некрополь. Воспоминания. - М. 2006. - 531 с.

ГОРЬКИЙ И МАЯКОВСКИЙ: «Мы вас ждем, товарищ птица, отчего вам не летится?»

Как притягателен, заманчив, поистине всеобъемлющ для любого литератора образ парящей в небе птицы, сочетающий высокие идеи, устремления и заботы об улучшении общественного блага, оставляющий где-то там, внизу, мелкое, будничное, земное.

В «Письме писателя Владимира Владимировича Маяковского писателю Алексею Максимовичу Горькому», опубликованном в 1927 году в первом номере журнала футуристов «Новый Леф», Маяковский, едко иронизируя по поводу знаменитой «Песни о Соколе» Горького, уехавшего в Италию, напишет [6, с. 5]:

*«Алексей Максимыч, из-за ваших стекол
виден Вам еще парящий сокол?
Или с Вами начали дружить
по сагу ползущие жуи?»*

Есть у революции начало...

История взаимоотношений двух писателей — предвестников и глашатаев «революции» — весьма поучительна и уходит корнями в далекий 1912 год, при этом сами эти отношения то трансформировались в дружескую приязнь, то приобретали форму бурных словесных баталий.

В манифесте футуристов «Пощечина общественному вкусу» Д. Бурлюк, А. Крученых, Вл. Маяковский, В. Хлебников «бросили перчатку» известным писателям: «Всем этим Максима Горьким, Куприным, Блокам, Соллогубам, Ремизовым, Аверченкам, Черным, Кузьминым, Буниным: и проч., и проч. — нужна лишь дача на реке. Такую награду дает судьба портным» [12, с. 99]. Но эта декларация, продиктованная исключительно творческим задором вновь сформированного нового поэтического течения, так и осталась громкой декларацией, поскольку спустя всего три года в биографических записях «Я Сам» Маяковский напишет: «Пишу «Облако». Поехал в Мустамяки (Горький снимал комнату на даче-пансионате А.К. Горбик-Ланге, в 1948 году поселок переименован в деревню Пешково Ленинградской области, позднее — в деревню Горьковское, — прим. автора). М. Горький. Читал ему части «Облака». Расчувствовавшийся Горький обплакал мне весь жилет. Расстроил стихами. Я чуть загордился. Скоро выяснилось, что Горький рыдает на каждом поэтическом жилете. Все же жилет храню. Могу кому-нибудь уступить для провинциального музея» [7, с. 55].

Об этом эпизоде очного знакомства писателей позднее напишет Лев Кассиль: «Осенью 1915 года Маяковский навещает Горького в Финляндии. В саду, где осенние деревья уже надели желтые кофты, Маяковский читает Алексею Максимовичу «Облако в штанах». Горькому нравится: «Вот это настоящий разговор с богом! Давно господу так здорово не влетало, — потом восхищенный Горький, озабоченно присмотревшись к Маяковскому, наставительно говорит ему: — Вот что... Вышли вы на заре и громким голосом заговорили. А день-то велик. Хватит ли вас?» [9, с. 15].

Начавшаяся мировая война внесла прозаические коррективы в жизнь Маяковского, который сначала рвался на фронт, но сумел избежать призыва в действующую армию только благодаря протекции Максима Горького, который помог с устройством на военную службу в Петрограде в Учебной автомобильной роте. «Забрили, — писал Маяковский родным. — Теперь идти на фронт не хочу. Притворился чертежником. Ночью учусь у какого-то инженера чертить авто» [8, с. 55].

В октябре 1915 года Маяковский напишет: «Я призван и взят в Петроградскую автомобильную школу, где меня определили в чертежную как умелого и опытного чертежника. Пришлю свою «военную» карточку» [7, с. 126].

Горький помог молодому поэту не только с устройством на военную службу в Петрограде, но и с публикацией стихов, которая была категорически запрещена военнослужащим. В трудное военное время Горький совместно с Александром Тихоновым (Серебровым) и Иваном Ладыжниковым (постоянными, как бы сейчас сказали, партнерами по бизнесу) организовал книжное издательство «Парус», к сотрудничеству в котором привлекал как молодых авторов, так и эмигрантов-большевиков (Ленина, Покровского, Зиновьева и других), обещая высокие гонорары. Одновременно было организовано издание литературного и политического журнала «Летопись», выходившего в Петрограде тиражом 10-12 тысяч экземпляров. Материальное обеспечение предприятия Горький взял на себя, вложив в него в качестве первого взноса аванс за

предполагаемое издание собрания сочинений — 25000 рублей [10, с. 42].

Алексей Максимович вел активный поиск молодых литературных дарований, лично прочитывал все присылаемые ему рукописи, отвечал авторам, не скупясь на похвалы, при этом ему удавалось находить подлинные таланты, включая Маяковского, о котором Горький скажет: «Собственно говоря, никакого футуризма нет, а есть только Вл. Маяковский. Поэт. Большой поэт» [7, с.225].

Уже в 1916 году Горький предложил Маяковскому печататься в «Летописи», а в издательстве «Парус» вышел первый сборник его стихов: «Простое как мычание» — в который поэт включил свое, ставшее впоследствии знаменитым, лирическое «Послушайте!» и чеканное «Война объявлена»:

*Бронзовые генералы на граненом цоколе?
молили: «Раскуйте, и мы поедем!»
Прощающейся конницы поцелуи цокали
и пехоте хотелось к убийце — победе.*

Сборник получил гневную критику, над Маяковским открыто издевались, а в адрес Горького полетели филиппики за то, что он позволяет печатать такого «грубого» поэта.

Справедливости ради отметим, что далеко не все, присылаемое Горькому, принималось к печати. Например, Горький отклонил работу Григория Зиновьева, будущего соратника Ленина, чем нажил себе влиятельного врага на долгие годы, причем конфликт с известным партийным функционером получит продолжение в газете «Новая жизнь», а впоследствии даже приведет к необходимости отъезда Горького за границу.

В первом номере «Летописи» Горький поместил статью «Две души» — небольшое, но концептуальное произведение, проникнутое критикой царивших в обществе русофильских идей: «Русское «богоискательство» проистекает из недостатка убежденности в силе разума — из потребности слабого человека найти руководящую волю вне себя — из желаний иметь хозяина, на которого можно было бы возложить ответственность за бестолковую, неприглядную жизнь» [4, с.186]. Статья Горького вызвала бурю возмущения в стане патриотов.

А я стою один меж них, в ревушем пламени и дыме, и всеми силами своими молюсь за тех и за других

В начале 1917 года издание «Летописи» столкнулось с финансовыми затруднениями, а после Февральской революции ежемесячный журнал перестал успевать за быстро меняющейся общественно-политической обстановкой, теряя читателей, переключившихся почти исключительно на модные агитки. Призывы к спасению культуры как основы построения нового разумного общества в условиях ожесточенной политической борьбы практически не имели сторонников. Журнал тихо «почил в бозе» в декабре 1917 года.

Успевая за вызовами времени, Горький переключился на издание ежедневной газеты «Новая жизнь», в которой опубликовал серию острых публицистических статей, получивших название «Несвоевременные мысли», выражая в них надежду на победу разума над низменными инстинктами толпы. После Октябрьской революции «Новая жизнь» приняла оппозиционную направленность по отношению к большевистскому режиму, подчеркивая опасность для культурного строительства разрушительной энергии варварской стихии, вдохновляемой ленинским правительством, и была закрыта как антисоветская в 1918 году.

Горький, осознавая ценность просветительской деятельности, писал: «В силу целого ряда условий у нас почти совершенно прекращено книгопечатание и книгоиздательство и, в то же время, одна за другой уничтожаются ценнейшие библиотеки. Вот недавно разграблен мужиками целый ряд имений. Мужики развезли по домам все, что имело ценность в их глазах, а библиотеки — сожгли, рояли изрубили топорами, картины — изорвали. Книга — главнейший проводник культуры, и для того, чтобы народ получил в помощь себе умную, честную книгу, работникам книжного дела можно бы пойти на некоторые жертвы, — ведь они прежде всех и особенно заинтересованы в том, чтоб вокруг них создавалась идеологическая среда, которая помогла бы развитию и осуществлению их идеалов. Наши учителя, Радищевы, Чернышевские, Марксы — духовные делатели книг, жертвовали и свободой, и жизнью за свои книги» [1, с.18].

Проявляя недюжинные организаторские способности, уже в 1919 году при непосредственном участии Горького при Наркомпросе было организовано издательство «Всемирная литература», к работе в котором были привлечены крупнейшие деятели русской культуры: академики В. Алексеев, Владимирцев, Крачковский, С. Ольденбург, писатели А. Блок, М. Лозинский, Зиновий Гржебин, К. Чуковский, Е. Замятин, Николай Гумилев и другие.

«Всемирная литература» планировала издавать лучшие произведения мировой художественной литературы XVIII-XX веков в двух сериях: основной и народной библиотек. Основная серия в количестве порядка 1500 томов задумывалась как систематически подобранная библиотека, сформированная не только для чтения, но и как широкое пособие по изучению мировой литературы. Серия народной библиотеки для массового читателя в количестве 2500 томов, помимо классических произведений мировой литературы, включала и произведения исторические, авантюрные, юмористические.

Основание и деятельность издательства «Всемирная литература» в 1918-1920 годах целиком опирались на технический потенциал типографии «Копейка» — крупнейшей в России. Однако условия полиграфического производства в первые годы после революции 1917 года не соответствовали масштабу поставленных задач, а гигантским просветительским планам Горького так и не суждено было свершиться. 16 октября 1921 года писатель уезжает за границу, причем слово «эмиграция» в контексте его поездки в то время не употреблялось. Официальной причиной отъезда (по настоянию Ленина) была названа необходимость лечения за границей в связи с постоянными рецидивами легочной болезни Горького. По неофициальной версии — Горький был вынужден уехать из-за обострения идеологических разногласий с советской властью и личной конфронтации с «революционным диктатором» Петрограда с неограниченными полномочиями — Зиновьевым («Гришкой Третим»), чинившим писателю зловередные козни.

Нас утро встречает прохладой...

В 1921-1923 годах Горький живет в Гельсингфорсе (Хельсинки), Берлине, Праге. До 1924 года Горькому не давали визы в Италию как «политически неблагонадёжному», а после — фашистские власти не разрешили поселиться на Капри. С 1924 по 1933 год Горький жил сначала в Неаполе, а затем в Сорренто, сменив несколько гостиниц, санаториев и вилл. Вместе с Шкловским и Ходасевичем Горький начал свой единственный издательский проект в Европе — журнал «Беседа», названный по предложению Ходасевича в память Державина, в котором планировалось соединить культурный потенциал литераторов Европы, русской эмиграции и Советского Союза. Несмотря на устойчивые слухи, что журнал издавался на московские деньги, его выпускало берлинское издательство «Эпоха», основанное на частные средства. «Эпоха» взялась за реализацию проекта полагая, что участие Горького, могло служить гарантией закупки журнала для советской России [13, с. 361].

В этот не простой для опального Горького период жизни в Италии журнал футуристов «Новый Леф» больно «кусает» его самолюбие, публикуя гневное воззвание Маяковского к Алексею Максимовичу, в котором есть и такие строки [6, с.4-6]:

*Алексей Максимович, как помню, между нами
что-то вышло вроде драки или ссоры.
Я ушел, блестя потертыми штанами;
взяли Вас международные рессоры.
Очень жалко мне, товарищ Горький,
что не видно Вас на стройке наших дней.
Думаете — с Капри, с горки
Вам видней?
Одни мы, как ни хвалите халтуры,
но, годы на спины грузя,
тащим историю литературы —
лишь мы и наши грузья.
Мы не ласкаем ни глаза, ни слуха.
Мы — это Леф,
без истерики — мы по чертежам деловито и сухо
строим завтрашний мир.
Я знаю — Вас ценит и власть, и партия,
Вам дали б всё — от любви до квартир.
Прозаики сели пред Вами на парте б:
— Учи! Верти!
— Алексей Максимыч, из-за ваших стекол
виден Вам еще парящий сокол?
Или с Вами начали дружить
по сагу ползущие ужи?
Здесь дела по горло, рукав по локти,
знамена неба алы,*

*и соколы — сталь в моторном клёкоте
— глядят, чтоб не лезли орлы.
Делами, кровью, строкою вот этою,
нигде не бывшею в найме,
— я славлю взвитое красной ракетой
Октябрьское, руганное и пропетое,
пробитое пулями знамя!*

Горький в свою очередь парировал:

«От бесед с литераторами и чтения журналов определенно веет затхлостью злейшей «кружковщины», вредной замкнутостью в тесных квадратах групповых интересов, стремлением во что бы то ни стало пробиться в «командующие высоты». Это особенно характерно в таком учреждении, как «Леф», где несколько самохвалов пытаются смутить молодых литераторов проповедью ненужности художественной литературы. «Леф» убеждает молодежь не учиться у классиков, это — совершенно напрасно. Литературной технике и языку надобно учиться именно у Толстого, Гоголя, Лескова, Тургенева, к ним я прибавил бы и Бунина, Чехова, Пришвина. Бояться идеологической заразы — значит не верить в силу классового самосознания» [2, с. 12, 14].

Горький подтвердит свое отрицательное отношение к поэзии Маяковского в марте 1928 года в статье «О возвеличенных и «начинающих»:

«Не всякая ошибка и обмолвка уже ересь. Но вот цитированные Бухариным стихи Маяковского:

*И когда мне говорят, что труд еще и еще,
Будто хрен натирают на заржавленной терке,
Я ласково спрашиваю, взяв за плечо:
«А вы прикупаете к пятерке?»*

Вот это действительно злейшая ересь, потому что это — мещанский анархизм» [2, с. 23].

Все годы вынужденной эмиграции Горький с одной стороны демонстрировал лояльность к Сталину, но в то же время поддерживал дружеские отношения со многими лидерами внутрипартийной оппозиции. И вот в мае 1928 года по приглашению не только советского правительства, но и лично товарища Сталина впервые за 7 лет после отъезда за границу Алексей Максимович возвращается в СССР.

А уже в июне 1929 году ирония судьбы снова сводит писателей на знаковом мероприятии — II съезде Союза воинствующих безбожников.

В своём выступлении на съезде Маяковский ожидаемо резко призвал писателей и поэтов к участию в борьбе с религией:

«Мы можем уже безошибочно различать за католической сутаной маузер фашиста. Мы можем уже безошибочно за поповской рясой различать обрез кулака, но тысячи других хитросплетений через искусство опутывают нас той же самой проклятой мистикой. <...> Владимир Ильич в письме к Горькому писал, что католический священник в сутане, растлевающий девушек, не так страшен, как демократический поп без рясы, закручивающий нам головы красивыми словами. Если ещё можно так или иначе понять безмозглых из паствы, вбивающих в себя религиозное чувство в течение целых десятков лет, так называемых верующих, то писателя-религиозника, который работает сознательно и работает всё же религиозничая, мы должны квалифицировать или как шарлатана, или как дурака. Товарищи, обычно дореволюционные ихние собрания и съезды кончались призывом «с богом», — сегодня съезд кончится словами «на бога». Вот лозунг сегодняшнего писателя» [7, с.34-35].

Горький в приветственной речи съезду обозначит свое отношение к религии мудрее и дальновиднее:

«Товарищи, я скажу несколько слов о том, что мне не нравится в борьбе, которая вами начата и которая могла бы идти, по моему мнению, значительно успешнее, дать гораздо больше результатов, если бы приёмы, методы борьбы были несколько изменены. <...> Я знаком с антирелигиозной литературой. Мне кажется, что она недостаточно солидна, что с этим оружием, слишком легковесным <...> нельзя надеяться, что победишь столь тяжело вооружённых людей, как попы, людей учёных, хитрых, прекрасно знающих свой материал, материал своей самозащиты — евангелие, библию, богословские науки и т.д. Когда вы будете им говорить только от себя и Маркса, они вам скажут: «А я верю так», — что вы сделаете против этого? Против эмоций должна быть выдвинута такая же зарядка, такая же энергия и такая же ненависть, потому что в той любви, которую проповедают церковники, христиане, — огромное количество ненависти к человеку. Против нас действуют от библии. И против каждого из тех текстов, которые могут быть выдвинуты противником, можно найти хороший десяток текстов противоречивых. Критическое издание библии с комментариями было бы хорошим орудием в руках безбожников. Дело не в том, чтобы ломать церкви, а в том,

чтобы люди забыли о церквях, чтобы туда никто не ходил, — вот чего нужно добиваться. Кто создал богов? Мы, наша фантазия, наше воображение. Раз мы их создали, мы имеем право их ниспровергнуть. И должны ниспровергнуть. Всё, что мы делаем сейчас, вся Страна Советов является результатом нашей энергии, нашей воли, и это — мы видим — уже создаёт и создаст чудеса» [3, с. 231].

С этой точки невозврата нравственные и духовные позиции писателей будут расходить все дальше.

Маяковский на 2-м расширенном Пленуме Правления РАПП в конце сентября 1929 года вспомнит свое стихотворное письмо Горькому и попрекнет Алексея Максимовича не чем иным, как желанием разглядеть за репрессиями строящегося социализма человеческое лицо: «И здесь битьем по упадочническим настроениям были мои стихи Есенину. Большинству известно «Письмо Максиму Горькому», где вместе с Шалапиным говорилось об искусстве. Это была вещь — задолго до лишения Шалапина звания Народного артиста и задолго до всем известных разговоров о Горьком, о том, что писала «Комсомольская правда» относительно его заступничества за детей лишенцев. Это наш актив в нашем общем отношении к проблемам» [7, с.50].

Однако горьковские птицы не давали покоя Маяковскому, и в 1931 году он вернется к теме свободных птиц, поднятой Горьким на заре революции, с определенным недвусмысленным подтекстом в детской книжке: «Мы вас ждем, товарищ птица, отчего вам не летится?» [5, с. 3, 4, 6, 16]:

*Несется клич со всех концов,
несется клич во все концы:
— ВЕСНА ПРИШЛА! ДАЕШЬ скворцов;
Добро пожаловать скворцы!
В самом лучшем месте
самой лучшей рощи,
на ветке поразвесистой
готова жилплощадь.
И маленькой птице
с большим аппетитцем.
Готовы для кормежки
и зерна, и мошки.
Из-за моря,
из-за леса
не летят скворцы пока,
пионеры сами лезут
на берёзины бока.
Слетит скворец под сень листов,
сказать придется — НЕТ МЕСТОВ!
ХОЧУ, чтоб этот КЛИЧ гудел
над прочими кличами:
ТОВАРИЩ, пионерских дел
не забывай за птичьими.*

В конце туннеля?

Одна из несвоевременных мыслей, высказанных Горьким, окажется пророческой: «Оригинальнейшая черта русского человека — в каждый данный момент он искренен. Именно эта оригинальность и является, как я думаю, источником моральной сумятицы, среди которой мы привыкли жить. Вы посмотрите: ведь нигде не занимаются так много и упорно вопросами и спорами, заботами о личном «самосовершенствовании», как занимаются этим, очевидно бесплодным, делом у нас» [1, с.13].

Быстрый на едкое слово Куприн не нашел в себе внутренних сил поверить в искренность Горького, не простил ему колебаний и человеческой слабости в годы кровавой революции, как не поверил в желание Маяковского воплотить настоящую духовность в форме нового течения — футуризма — и нарисовал в эмиграции такие меткие портреты писателей, которые легко позволяют отыскать психологический ключик и к их раннему творческому сближению, и к позднее сформировавшемуся конфликту:

«Сокол — соколом и Буревестник — буревестником, а все-таки Алексей Максимович мужик хитрый, дальновидный, бережливый и расчетливый. Простота его подобна мордовскому лаптю, плетенному о восьми концах. И уж, конечно, денег своих он не стал бы держать ни в керенках, ни в военном займе, ни в советском пипифаксе. Чем он хуже тех наших земляков, которые уже в конце 1916 года перевели свои капиталы в фунтах, долларах и франках за границу?» [11, с. 317].

Не менее показательна купринская характеристика Маяковского в «Шутах горо-

ХОВЫХ»:

«Взошел на подмостки Владимир Маяковский, в кофте наполовину зеленой, наполовину красной, одна штанина желтая, другая фиолетовая, на щеках синие звезды, в петлице приапический символ... Взошел и заорал: «Весь ваш Пушкин не стоит моего мизинца!» С этими словами стащил с правой ноги башмак и запустил им в публику. Публика, конечно, пришла в неистовый восторг и с этого момента закрепила за Маяковским титул гения. Выходка Маяковского была сделана давно не только до революции, но и до войны. Я ее считаю чрезвычайно значительной и глубоко пророческой. В ней как бы блеснул на миг прообраз того самого большевизма, который тогда еще смутно, дурманно и громоздко только что начинал бродить в русских головах. Футуристы бессознательно были вещими птицами большевиков. Возьмем наших старых, вечно новых, прекрасных писателей, введших русскую литературу на почетное место. Все они были хорошо образованы и никогда не переставали читать, наблюдать, учиться. Мы застали новаторов конца XIX и начала XX столетия. Самонадеянности у них было, пожалуй, чересчур. Но кто же станет отрицать наличие блестящей эрудиции и внутренней работы над своим талантом у Бальмонта, Брюсова, Блока, Гумилева, Вячеслава Иванова, Иннокентия Анненского, Сологуба, Ахматовой, Кузмина. Футуризм сказал сам себе: «Труд? — Отвратительно. Учиться? — Скучно. Слава? — Приятно. Деньги? — Еще вкуснее. Что публика любит наипаче? — Скандал, похабщину и все, что вне ее понимания, все равно: будь это высокая мудрость или самая пошлая мистификация». А для простого, срединного русского народа в них нет ничего нового; солидный крестянин, создавший песню, и былинку, и сказку, и ловкую поговорку, презрительно суров к таким егозливым болтунам: «Шуты гороховые». [11, с.392-393].

История Маяковского-поэта не закончится его «Неоконченным» стихотворением, но волею судеб слова Горького, произнесенные на финской даче в 1915 году, оказались пророческими: «Вышли вы на заре и громким голосом заговорили. А день-то велик. Хватит ли вас?»

После трагического ухода из жизни Маяковского Горький в заключительной речи 1 сентября 1934 г. на Первом съезде писателей СССР не сможет обойти молчанием его поэзию: «В докладе т. Бухарина есть один пункт, который требует возражения. Говоря о поэзии Маяковского, Н.И. Бухарин не отметил вредного — на мой взгляд — «гиперболизма», свойственного этому весьма влиятельному и оригинальному поэту» [2, с. 406].

По стечению обстоятельств Горький в течение последних одиннадцати лет жизни будет сочинять свое самое крупное, «прощальное» произведение — роман «Жизнь Клима Самгина» — описание духовных (горьковских) метаний русской интеллигенции в переломную эпоху, которое так и не сможет завершить.

Парадоксы истории: одна из вещей птиц большевизма (по Куприну) — большой поэт, футурист Маяковский — не до конца пропев свою лебединую песню, разбился о цинизм вскормившей его политической системы, а призрак трагически погибшего в 1895 году сокола Горького еще долго кружил над просторами России, оглашая пространство и время посвистыванием и пощелкиванием вернувшегося из дальних стран скворца-пересмешника, смущая нетвердые души своей любовью к эпизодическим полетам в небо...

Б и б л и о г р а ф и я

1. Горький А.М. Несвоевременные мысли. Газета «Новая жизнь». - Петроград. 1917-1918.
2. Горький А.М. О литературе. Статьи и речи. 1928-1935 гг. - М.: Государственное издательство «Художественная литература», 1935. - 431 с.
3. Горький А.М. Собрание сочинений в тридцати томах. Т. 25. Статьи, речи, приветствия 1929-1931. - М.: Гослитиздат, - 1949. - 335 с.
4. Горький А.М. Статьи 1905-1916 гг. - Петроград, Парус. 1918. - 213 с.
5. Маяковский В.В. Мы вас ждем, товарищ птица, отчего вам не летится? М.- Ленинград: ОГИЗ Молодая гвардия, 1931. - 16 с.
6. Маяковский В.В. Письмо писателя Владимира Владимировича Маяковского писателю Алексею Максимовичу Горькому, Новый Леф, №1, 1927. - М.: Госиздат. - 50 с.
7. Маяковский В.В. Статьи, заметки, выступления 1928-1930 гг. - 282 с.
8. Маяковский В.В. «Я Сам». 1922, 1928. Источник: В.В. Маяковский, сочинения в двух томах. Москва, издательство «Правда», 1987/1988 г. - 332 с.
9. Кассиль Л. Маяковский. Избранные произведения. - М.: 1940. - 162 с.
10. Коростелев С.Г. Серия 10. Журналистика. №5, 2013. - М.: Вестник Московского университета. - 112 с.
11. Куприн А.И. Хроника событий глазами белого офицера, писателя, журналиста, 1919-1934. - М: ООО «Издательство Собрание», 2006. - 672 с.
12. От символизма до Октября. Составили Н.Л. Бродский, Н.П. Сидоров. - М.: Новая Москва. 1924 г. - 303 с.
13. Ходасевич В.Ф. Некрополь. Воспоминания. - М. 2006. - 531 с.